

**Б.Ю. Поплавский**

# **Аполлон Безобразов**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Б11

**Б.Ю. Поплавский**  
Б11 Аполлон Безобразов / Б.Ю. Поплавский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 154 с.

**ISBN 978-5-4241-3173-8**

Проза Бориса Поплавского (1903 1935) явление оригинальное и значительное, современники считали, что в ней талант Поплавского «сказался даже едва ли не ярче, чем в стихах» (В. Вейдле). Глубоко лиричная, она в то же время насквозь философична и полна драматизма. Герои романов русские эмигранты, пытающиеся осмыслить свою судьбу и найти свое место на этой земле.

**ISBN 978-5-4241-3173-8**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Б.Ю. Поплавский, 2021

Борис Поплавский  
Аполлон Безобразов



# ГЛАВА I

*Oiseau enferme dans son vol, il n'a  
jamais connu la terre, il n'a jamais eu  
d'ombre.*

*Paul Eluard<sup>1</sup>*

Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изюбрины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей.

Под тентами магазинов создавался род близости мокрых людей. Они почти дружески переглядывались, но дождь предательски затихал, и они расставались.

Дождь шел также в общественные сады и над пригородами, и там, где предместье кончалось и начиналось настоящее поле, хотя это было где-то невероятно далеко, куда, сколько ни пытайся, никогда не доедешь.

Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он своею серою солоноватую тканью.

Лошади были покрыты потемневшими одеяниями, и, в точности, как в Древнем Риме, шли нищие, покрывши головы мешками.

На маленьких улицах ручьи смывали автобусные билеты и мандаринные корки.

Но дождь шел также на флаги дворцов и на Эйфелевой башне.

Казалось, грубая красота мироздания растворяется и тает в нем, как во времени.

Периоды его учащения равномерно повторялись, он длился и пребывал, и казался самой его тканью.

Но если очень долго и неподвижно смотреть на обои в своей комнате или на соседнюю голубоватую стену на той стороне двора, вдруг отдаешь себе отчет, что в какой-то неуловимый момент к дождю примешиваются сумерки, и мир, размытый дождем, с удвоенной быстротой погружается и исчезает в них.

Все меняется в комнате на высоком этаже, бледно-желтое закатное освещение вдруг гаснет, и в ней делается почти совершенно темно.

Но вот снова край неба освобождается от туч, и новые белые сумерки озаряют комнату.

Тем временем часы идут, и служащие возвращаются из своих контор, далеко внизу зажигаются фонари, и на потолке призрачно появляется их отражение.

И еще дальше идет, и безнадежно теряется время.

Огромные города продолжают всасывать и выдыхать человеческую пыль. Происходят бесчисленные встречи взглядов, причем всегда одни из них стараются победить или сдаются, потупляются, скользят мимо. Никто не решается ни к кому подойти, и тысячи мечтаний расходятся в разные стороны.

Тем временем меняются времена года, и на крышах распускается весна. Высоко-высоко над улицей она греет розовые квадраты труб и нежные серые металлические поверхности, к которым так хорошо прильнуть в полном одиночестве и закрыть глаза или, примостившись, читать запрещенные родителями книги.

Высоко над миром во мраке ночей на крыши падает снег. Он сперва еле видим, он накопляется, он ровно и однообразно присутствует. Темнеет и тает. Он исчезнет, никогда не виденный человеком.

Потом, почти вровень со снегом, вдруг неожиданно и без переходов приходит лето.

Огромное и лазурное, оно величественно раскрывается и повисает над флагами общественных зданий, над мясистой зеленью бульваров и над пылью и трогательным безвкусием загородных дач.

Но в промежутках бывают еще какие-то странные дни, прозрачные и неясные, полные облаков и голосов; они как-то по-особенному сияют и долго-долго гаснут на розовой штукатурке маленьких отдаленных домов. А трамваи как-то особенно и протяжно звонят, и пахнут акации тяжелым сладким трупным запахом.

Как огромно лето в опустевших городах, где все полузакрыто и люди медленно движутся как бы в воде. Как прекрасны и пусты небеса над ними, похожие на небеса скалистых гор, дышащие пылью и безнадежностью.

Обливаясь потом, вниз головою, почти без сознания спускался я по огромной реке парижского лета.

Я разгружал вагоны, следил за мчащимися шестернями станков, истерическим движением опускал в кипящую воду сотни и сотни грязных ресторанных тарелок. По воскресеньям я спал на бруствере фортификации в дешевом новом костюме и в желтых ботинках неприличного цвета. После этого я просто спал на скамейках и днем, когда знакомые уходили на работу, на их смятых отельных кроватях в глубине серых и жарких туберкулезных комнат.

Я тщательно брился и причесывался, как все нищие. В библиотеках я читал научные книги в дешевых изданиях с идиотическими подчеркиваниями и замечаниями на полях.

Я писал стихи и читал их соседям по комнатам, которые пили зеленое, как газовый свет, дешевое вино и пели фальшивыми голосами, но с нескрываемой болью, русские песни, слов которых они почти не помнили. После этого они рассказывали анекдоты и хохотали в папиросном тумане.

Я недавно приехал и только что расстался с семьей. Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь.

Я странствовал по городу и по знакомым. Тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с унижительной вежливостью поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры, прерываемые вздохами и чаепитием из плохо вымытой посуды.

— Почему они все перестали чистить зубы и ходить прямо, эти люди с пожелтевшими лицами? — смеялся Аполлон Безобразов над эмигрантами.

Волоча ноги, я ушел от родных; волоча мысли, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы; волоча дни, я дожил до 24 лет.

В те годы платье на мне само собою мялось и оседало, пепел и крошки таба-

ку покрывали его. Я редко мылся и любил спать, не раздеваясь. Я жил в сумерках. В сумерках я просыпался на чужой перемятой кровати. Пил воду из стакана, пахнувшего мылом, и долго смотрел на улицу, затягиваясь окурком брошенной хозяином папиросы.

Потом я одевался, долго и сокрушенно рассматривая подошвы своих сапог, выворачивая воротничок наизнанку, и тщательно расчесывал пробор — особое кокетство нищих, пытающихся показать этим и другими жалкими жестами, что-де ничего-де не случилось.

Потом, крадучись, я выходил на улицу в тот необыкновенный час, когда огромная летняя заря еще горит, не сгорая, а фонари уже желтыми рядами, как некая огромная процессия, провожают умирающий день.

Но что, собственно, произошло в метафизическом плане оттого, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно, поделельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный? «Разве не прелестны, — говорил Аполлон Безобразов, — и все эти помятые и выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязно-серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и польсевших головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (Ахиллеса пята), и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков».

Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был бы лысоват и что под ногтями у него были бы черные каемки?

Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией.

Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще-христианской гордостью начинал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге.

Но, особенно летом, мне уже чаще становилось все равно. Я ел хлеб прямо на улице, не страшивая даже с себя крошек.

Я читал подобранные с пола газеты.

Я гордо выступал с широко расстегнутою, узкою и безволосою грудью и смотрел на проходящих отсутствующим и сонливым взглядом, похожим на превосходство.

Мое летнее счастье освобождалось от всякой надежды, но я постепенно начинал находить, что эта безнадежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие.

Я начинал принимать античные позы, т. е. позы слабых и узкоплечих философов-стоиков, паразитические, вероятно, по своей откровенности благодаря особенностям римской одежды, не скрывающей телосложения.

«Стоики тоже плохо брились, — думал я, — только что мылись хорошо».

И раз я, правда, ночью, прямо с набережной, голый, купался в Сене.

Но все это мне тяжело давалось.

Душа моя искала чьего-то присутствия, которое окончательно освободит меня от стыда, от надежды и от страха, и душа нашла его.

Тогда начался некий зловещий нищий рай, приведший меня и еще нескольких к безумному страху потерять то подземное черное солнце, которое, как бесплодный Сэт, освещало его. Моя слабая душа искала защиты. Она искала скалы, в тени которой можно было бы оглядеться на пыльный, солнечный и безнадежный мир. И заснуть в тени ее в солнечной глуши, с безумной благодарностью к нагретому солнцем камню, который ничего и не знает о вашем существовании...

Именно такой человек появился, для которого прошлого не было, который презирал будущее и всегда стоял лицом к какому-то раскаленному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось, все спало, все грезило, все видело себя во сне спящим.

Аполлон Безобразов был весь в настоящем. Оно было, как золотое колесо без верха и без низа, вращающееся впустую от совершенства мира, сверх программы и бесплатно, на котором стоял кто-то невидимый, восхищенный от мира своим ужасающим счастьем.

Все каменело в его присутствии, как будто он был Медузой.

Огромным, раскаленным, каменным пейзажем казался мир, одним из тех пейзажей Атласских гор, напоминающих ад, над которыми по воздуху проносился Симон-волхв.

Но он не был жесток. Малейшие травы могли расти в его присутствии и птицы сидеть на его руках, настолько он отсутствовал. А он был где-то далеко-далеко, по ту сторону рассветов и закатов, где и время и вечность, и день и ночь, Озирис и Сэт, и все живые и все умершие, и все грядущие, и все надежды, и все голоса присутствуют вместе и никогда не расстаются, и никогда не смолкают и откуда со слезами на глазах нисходят в жизнь.

Так иногда путешествуешь по городу, как по девственному лесу. Перейдя через сотню трамвайных линий, остановившись на множестве углов, я подошел к реке, отошел от нее и вновь возвратился к ней. Солнце заходило над сожженными им коричневыми деревьями набережной, над мягкими лиловыми асфальтами и над душами людей, доверху полными теплой и смутной, прекрасной и безнадежной усталостью городского леса. На оранжевой воде, на маленькой лодке у самой набережной неподвижно сидела человеческая фигурка, казавшаяся с этого моста совершенно маленькой. Не знаю, сколько времени я стоял на мосту, но каждый раз, когда я поворачивал глаза в ее сторону, фигурка продолжала неподвижно сидеть, не поворачиваясь и не меняя позы, с беспечностью и настойчивостью, показавшимися мне сперва бесполезными, затем нелепыми и, наконец, прямо-таки вызывающими.

«Все рыбаки — мечтатели», — подумал я, но этот человек даже не был рыбаком и, следовательно, не имел никакого оправдания своей вызывающей неподвижности.

Наконец, после, вероятно, целого часа терпеливого издевательства, мне вдруг захотелось спуститься вниз и заставить этого человека подняться или повернуться, или, наконец, просто показать ему взглядом, что он не имеет никакого права на такое поведение. Кроме права совершенно тупого или, наконец, просто спящего человека, или просто права нищих, которые иногда с поразительной физической выдержкой в невероятно неудобных позах костенеют на скамейках

общественных садов.

Наконец, потеряв всякое терпение, я спустился вниз, неловко, как заговорщик, шагая по крупным камням, подошел к плоскодонной лодке, в которой на железной цепи и на аршин от берега уже, вероятно, несколько часов уплывал, оставаясь на месте, загадочный человек. Сперва я с притворной скромностью прошел мимо него, но затем, видя, что он не обращает на меня никакого внимания, прямо-таки в отчаянии я остановился перед самой лодкой и уставился в его необыкновенно волевой профиль — смесь нежности и грубости, красоты и безобразия.

На первый взгляд, этот профиль имел почти комическое выражение, но в нем было что-то, что совершенно отбивало всякую охоту смеяться даже заядлому шутнику.

Было совершенно очевидно, что человек этот давно заметил меня. Он даже колебался одну минуту, но повернуть ли ему голову в мою сторону, но потом решился с очаровательным консерватизмом продолжать рассматривать пышно разметавшиеся по небу огненные волосы утопающего солнца. Его гладко выбритое лицо казалось выбитым из меди, и глаза имели то особое, но, скорее, женщинам свойственное выражение, которое появляется у светских людей, когда они отлично видят что-нибудь, но, еще лучше, не замечают. Наконец, я отступил два шага назад и с необыкновенной легкостью истерического припадка прыгнул в лодку. Этот странный поступок объясняется тем, что уже несколько минут вообще все было очень странно, все плыло по открытому морю необычайности, но необычайности как бы самодвижущейся, саморазвивающейся, необыкновенности снов и самых важных событий царства воспоминаний, тоже случившихся как бы сами собой, тоже несомых каким-то попутным ветром предопределения, рока и смерти.

Сидящий неподвижно слегка улыбнулся, как будто ждал этого, но продолжал сидеть, едва-едва скользнув по мне ничего не выражающим взглядом людей, охотно, но иронически приглашающих сесть. Теперь лицо его было отчетливо видно, все озаренное великолепным угасанием остывающего неба. Лицо это было так обыкновенно и, вместе с тем, так странно, так банально и, вместе с тем, так замечательно, что я на очень долгое время как бы погрузился в него, хотя оно было непроницаемо, даже вдруг успокоившись от удивления. Я совершенно забыл необычайный способ моего появления в лодке.

Под умело сдвинутой набекрень серой фуражкой, как бы перелетевшей сюда из фокс-фильмы, изображающей жизнь подонков Нью-Йорка, ровно, твердо и даже добродушно смотрели небольшие широко расставленные голубые глаза, которые имели ту особенность, отчетливо осознанную мною значительно позже и чрезвычайно редко встречающуюся среди европейцев особенность, состоящую в том, что они ровно ничего не выражали.

Поэтому-то я с первого раза приписал им добродушие, ибо приписывать им можно было решительно все. Не дай Бог вам, милый читатель, встретиться когда-нибудь с таким добродушiem, ибо добродушие Аполлона Безобразова именно, может быть, и было самую страшную его особенность.

Наконец, этот человек переменял свою удобную позу на другую, очевидно, еще более удобную, которую мне, вероятно, пришлось бы искать целый час, после чего я не усидел бы в ней больше пяти минут. Он облокотился на левый

локоть и правой рукой вытащил пакет с желтыми папиросами и плоские спички. Потом закурил и выбросил спичку за борт, соблюдая при этом такую экономию в движениях и такую художественную простоту их, что я, в глубине души начинавший робеть, в верхних слоях ее вновь изобразил сильнейший гнев.

Тогда Аполлон Безобразов отвел глаза от холодеющего неба и насмешливо посмотрел на меня. Глаза его отнюдь не были похожи на глаза гипнотизера, они не блестели ни загадочно, ни томно, они не темнели, а ровно поворачивались вместе с лицом не как живые существа, а, скорее, как толстые чечевички красивых ацетиленовых ламп на башнях маяков. Но глаза эти отнюдь не были стеклянными, скорее, прозрачность их была чем-то замутнена, как это бывает у европейцев, долго живших под тропиками, или у курильщиков опиума; но эти глаза отнюдь не были сонными, они не спали и не бодрствовали. Это были обыкновенные глаза, совершенно ничего не выражавшие. Это были глаза совершенно особенные, которым я никогда не видел подобных.

Теперь Аполлон Безобразов смотрел на меня довольно долго, и, очевидно, это разглядывание имело свои фазы, постепенно отменявшие одна другую. Вероятно, образ мой проходил через тень и свет. Многие профессии и мирозерцания примеривались к нему и не прививались, потому что Аполлон Безобразов, никогда не ошибавшийся в людях, любил колебаться, любил одновременно утверждать и отрицать, любил долго сохранять противоречивые суждения о человеке, пока вдруг, подобно внезапному процессу кристаллизации, из темной лаборатории его души не выходило отчетливое и замкнутое суждение, содержащее в себе также и момент доказательства, которое потом и оставалось за человеком неотторжимо, как проказа или след огнестрельной раны. В этом сказывалась какая-то особенная, чисто интеллектуальная мораль его или, вернее, чрезвычайно моральное отношение к своим мыслям, как будто они были живые существа, относительно которых он оставался совершенно пассивен, как бы не желая ничем форсировать их развития.

— Что вы скажете об Н.? — спросил я его однажды об одном человеке, который давно нам надоел и, наконец, умер и уже, несомненно, ничего не мог прибавить к комплексу воспоминаний, связанных с ним.

— Я ничего не могу сказать о нем, но жду, — ответил он, говоря о себе, как будто о реке или водопаде, по которому что-то должно было откуда-то проплыть.

Но обо всех этих превращениях моего для него бытия я догадался только значительно позже, когда заметил, что Аполлон Безобразов обращается со мной, как будто я и вправду был одновременно и дураком и умным, и слабым и сильным, и нежно интересующим его и далеким от него бесконечно. В тот же памятный день или, вернее, вечер это разглядыванье показалось мне совершенно бесполезным, как разглядыванье узоров на обоях, и потому оскорбительным, настолько взгляд Аполлона Безобразова был неизменен, прост и величественно банален, как взгляд Джиконды или стеклянных глаз в витринах оптиков. Казалось, этим взглядом нельзя было извлечь решительно ничего из бытия, хотя, в сущности, Аполлон Безобразов совершенно не слушал своих собеседников, а только догадывался о скрытом значении их слов по незаметным движениям их рук, ресниц, колен и ступней и, таким образом, безошибочно доходил до того, что, собственно, собеседник хотел сказать, или, вернее, того, что он хотел скрыть.

Но, в сущности, взгляд Аполлона Безобразова даже не был оскорбительным,

он не удостоивал давать нам права оскорбляться, он ровно скользил и пребывал одновременно, он покоился и был несмываем, как отблеск из окна. Потом Аполлон Безобразов вдруг медленно встал и жестом Ксеркса, приказывающего выпороть море, бросил наполовину выкуренную папиросу в воду, потом тем же красивым и экономным способом, которым он все делал, снял и опять надел фуражку на самые глаза и пригнулся выпрыгнуть из лодки, но раздумал и, потянув ее за цепь, спокойно сошел с нее с несколько даже стариковским приседанием на одну ногу.

У Аполлона Безобразова были неширокие, но совершенно прямо поставленные плечи греческих юношей и необыкновенно узкие бедра, придававшие его фигуре вид египетского барельефа или американского матроса. Он был довольно хороший легкий атлет, и все его тело было как бы выточенным из желтоватого апельсинового дерева, хотя он вовсе не имел вида сильного человека.

Тогда я тоже неловко прыгнул с лодки (почему-то вдруг он сошел, а я спрыгнул) и пошел за ним, твердо решив не отставать от этого человека ни на шаг, пока он со мной не подерется или не примет меня в свой круг, потому что вокруг него всегда присутствовал как бы невидимый, правильный, но непроницаемый круг, даже для тех, кого он держал в своих объятиях или ударял по лицу, хотя я заметил, что в разговоре с самыми простыми людьми — матросами, цирковыми акробатами или женщинами — этот круг вдруг исчезал, хотя, может быть, именно потому, что для них этот круг и не существовал, и он становился почти сердечным, ибо Аполлон Безобразов по мере сил и лени всегда старался скрыть свою профессию и образование и прямо-таки сердился и отстранялся от человека, который, долго просчитав его за приятного и недалекого человека, вдруг изменял о нем свое мнение, изучая для этого и художественно подражая мелким движениям очень простых людей, их способу надевать шляпу, здороваться и закуривать. «Ведь пришел же Христос инкогнито, — говорил он иногда, — и уж, наверно, не постыдно нам, простым смертным, защищаться от тех невежливых и безвкусно требовательных взглядов, которые мы кидаем на заведомо умного человека, в нашем присутствии не вмешивающегося в оживленный спор». И Аполлон Безобразов легко пошел вперед, но вдруг повернулся и, насупившись, вернулся обратно к лодке. В этой лодке мы просидели еще около часу, в который моя усталость, скука, чувство соперничества, желание уйти и остаться, желание осмеять Аполлона Безобразова и, наконец, почти броситься на него с кулаками дошли до такой степени, что этот момент по своей мучительной остроте незабываем для меня. Но Аполлону Безобразову, как видно, что-то нужно было додумать, дочувствовать, и он совершенно забыл обо мне, всецело погружившись в интеллигентное созерцание воды и неба, которые непрерывно изменялись, зеленели и голубели, багровели и оставались теми же.

Вдоль набережной медленно, как траурные иллюминации под дождем, загорались зеленые газовые фонари. Там проплывали автомобили и шумели грузовики, и пыльные деревья раскачивались в такт визгливой и отдаленной музыке. Была ночь 14 июля, и где-то уже хлопали шутихи и визжали дети, а над рекой восходила луна, и, может быть, именно ее-то и ждал Аполлон Безобразов. Огромная, мутно-оранжевая, как солнце, наконец покоренное земным притяжением, как пьяное солнце, как лживое солнце, смотрела она своим единственным и еще теплым глазом без зрачка, своей гигантской тяжестью подавляя теплую

железную крышу и дальние низкие острова.

Потом она поднялась немного выше и просветлела и, как дрожащие руки проснувшегося от припадка, протянула к нам по воде белую линию отражения.

А тем временем с противоположной стороны тихо захлопали отдаленные выстрелы ракет, и низкорослыми кустами стала вырастать и падать, зажигаться и тухнуть фантастическая растительность фейерверков. Тихо поднимались они над рекой, лопались и отцветали, оставляя за собой в воздухе серые сгоревшие двойники.

Наконец, раздался последний взрыв, беспорядочный, как расставание человека со сном, и уже ясно стало слышно пение труб и скрипок, взвизгиванье кларнетов и частый, как похоронный звон, удар цимбал. Теперь небо было синим, вода черной, луна белой, а наши лица темно-серыми. Аполлон Безобразов вдруг взмахнул в воздухе руками, как будто выплывая из чего-то, затем это движение перешло в умелое потягивание приятно уставшего человека, и мы встали, спустились с лодки и поднялись на мост.

Так, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, подобно Данте и Вергилию, подобно двум врагам, подобно двум приятелям, подобно двум банальным прохожим, шли мы по безлюдным улицам, по безлюдным площадям и бульварам, пока вдруг не попадали в толпу танцующих, толпу оголтелых и порозовевших, которые, разлетевшись в минуту прекращения музыки, с полукрытым ртом смотрели на нас, как бы ища подтверждения чему-то, предположим, тому, что сегодня праздник и все хорошо, и, не найдя его, тотчас же отворачивались прочь. По мере углубления в ночь музыканты становились все красней и веселей, будто бы толстели на глазах. Они пили пиво, отдуваясь и проливая его. Они надувались и продолжали играть с невероятным напряжением и такою же выносливостью. Казалось, лошадь заплакала бы от усталости и отошла бы, отмахиваясь, но они все продолжали играть, хотя казались уже готовыми умереть. Иногда происходила война между двумя оркестрами, старающимися переиграть друг друга: в одном были тромбон и саксофоны, в другом были однообразные старики, старавшиеся как можно больше шуметь; конечно, первые побеждали.

Скоро мы подошли к бульвару Сен-Мишель, поднялись по нему и, как два заговорщика, стали подходить к кварталу Монпарнас, где интернациональная богема, почти сплошь состоящая из людей, презирающих Францию, больше всех шумит и веселится в день 14 июля. Но Аполлон Безобразов и я давно привыкли к зрелищу и, найдя облитый пивом столик на самой окраине танцующих, уселись, как свои люди, смотреть на чужие танцы.

Тогда Аполлон Безобразов подозвал лакея, и лакей неожиданно повиновался, и заказал ему простого белого вина, которое неизменно и продолжал пить в течение всей этой короткой летней ночи.

Пил он очень много, не щурясь и не моргая, по-видимому, быстро пьянея. В одиннадцать часов ночи он казался совершенно пьяным, около часу, как будто бы, снова трезв, а в два часа даже глаза его порозовели от алкоголя, и он, стараясь попасть не в такт музыке, медленно махал в воздухе своей красной рукой и не замечал этого. Тогда, когда я счел его совершенно пьяным, я, чтобы осмеять его, неожиданно спросил:

— Сколько вам лет?

Тогда он вдруг моментально остановил свою руку, на что, казалось, был со-